**Тимур Ермаков**

**СОЗЕРЦАНИЕ**

Худые, костлявые пальцы задумчиво перебирали клавиши фортепиано, такого же древнего, как и его владелец. Времена, когда инструмент знал любовь и заботу, давно канули в прошлое: уверенная рука не скользила более по гладкому корпусу, покрытому сверкающим лаком. Крышка не накрывала долгий ряд клавишей, хранивших на себе память о самых разных прикосновеньях: нежных и отчаянных, сомневающихся и уверенных – отчего по прошествии многих лет те покрылись йодисто-желтыми пятнами от ежедневного водопада оконного света. Вдобавок ко всему на инструмент сверху была небрежно свалена куча вещей самого разного толка: от блистеров с таблетками и книг до немытых кофейных чашек и просроченных квитанций. Выделялась своей свежестью разве что рамка, стоявшая на середине крышки – единственное яркое пятно во всей комнате.

Содержимое рамки, конечно, не было таким уж и «новым». Старая фотография запечатлела женщину в тёмной юбке и тонкой льняной рубашке с кружевами на воротничке. Верхние три пуговицы были расстёгнуты, оголяя изящную шею и заметные при особом освещении, выставленном фотографом, ключицы – признак того возраста, когда девушку уже нельзя сравнить с Джульеттой, но и рано называть «старой девой». Тонкие руки были подняты к лицу с лёгким, почти игривым драматизмом. Лицо, несмотря на упомянутые ключицы, смотрелось всё ещё вполне свежим: мимические морщинки не успели стать характерной чертой её образа, как это было у мужчин одного с нею возраста. Верхняя губа чуть выдавалась вперёд, отбрасывая тень на нижнюю и создавая ямочку у подбородка с двумя маленькими точками – на самом подбородке и чуть ниже. Изогнутые брови были приподняты, как две взлетевшие испуганные птицы. Светлые, охристого цвета глаза смотрели не то в камеру, не то куда-то за спину фотографа, словно стараясь не обращать внимание на человека со штативом, суетившегося перед ней. Начавшие седеть волосы были коротко пострижены на манер тогда ещё популярной Твигги. Мир вокруг женщины на фото, погружённый в сепию и царапины, был обрамлён деревянной рамкой.

Сидевший за клавишами старик казался полной противоположностью женщине с портрета. Вместо тщательно подобранной одежды он носил ветхий вязанный свитер, подаренный ему кем-то очень давно. В некоторых местах уже зияли дыры, обрывки и пряди шерсти хаотично торчали из рукавов. На голове, усеянной жёлто-коричневыми пятнами, оставалось совсем немного белых волос, закрученных на висках, как у какого-нибудь именитого учёного или художника – хотя кто именно мог ходить с подобным безобразием на голове сразу вспомнить не удаётся. Лицо, ровно как и вся внешность, было напрочь лишено всех некогда делавших его прекрасным черт. Оно напоминало обратную сторону Луны: вечно в тени, спрятанное в шарф или воротник куртки, чтобы не видеть других; кожа испещрена глубокими как каньоны морщинами, складками и родинками, похожими на мириады кратеров.

Пальцы медленно прохаживались по клавиатуре, нежно поглаживая клавиши. Из-под густых бровей, засев глубоко в черепе, две пронзительных голубых точки смотрели на разложенные на пюпитре пожелтевшие от времени рукописи. Судя по изящным переливам на листе, это было произведение классики. Шопен? Или что-то новее – Мессиан? Ни на одной из страниц не было ни названия, ни каких-либо знаков авторства. Наверное, транскрибировали на слух. Нет, этого не могло быть: если бы старик слушал исполнение и параллельно вёл запись, тогда бы он упустил сам момент игры – суть всей музыки. Ноты могут напомнить о звучании, но они никогда не смогли бы воспроизвести чувства, которые артист вложил в момент исполнения. Может тогда по собственной невнимательности старик потерял титульную страницу, случайно выбросив её в урну с прочими ненужными бумагами? Тоже нет, тогда композиция начиналась бы неожиданно, а взглянув на ноты можно было чисто графически определить момент, когда происходит рождение темы. И потом, среди других вещей партитуру он хранил бережнее всего: выравнивал листы, прежде чем убрать их в картонную папку, перевязанную бечёвкой, а затем также аккуратно ставил на полку к другим безымянным папкам. Но чей же тогда была эта пьеса?

Думается, даже самый наслушанный музыковед ни за что не смог бы сказать, что исполняет этот старик. Уже как год он перестал читать ноты, красовавшиеся перед ним. Поначалу он опирался на них, играл написанное, но с каждым следующим разом композиция слегка менялась. Пропадали ноты, смешивался порядок фигур, темп всё замедлялся, характер пьесы варьировался от исполнения к исполнению в зависимости от настроения. В конце концов, изначальное произведение полностью потеряло себя. Левая рука прожимала отрывистые аккорды, в то время как кисть правой элегантно, чуть задумчиво выводила мелодию. Расстроенный звук эхом рассеивался по пустым комнатам то несколькими фразами подряд, то незакончено повисая в воздухе. Иногда, будто заснув, старик зажимал педаль и оставлял пальцы лежать на верхних клавишах – тогда звук, казалось, тянулся вечность, растворяясь в тишине комнаты, и затем минут пять ничего не происходило. Квартира словно погружалась в забытье. Вещи могли начать вспоминать, как ими когда-то пользовались; пол, как на его покрытой линолеумом поверхности танцевали десятки ног, отбивая бодрый ритм; стены хранили на себе далёкие отзвуки мужских и женских голосов, вздохи и пение. А затем, также внезапно, как и наступившее молчание, тишина отступала перед новым мягким касанием клавиш. Этот концерт для никого мог продолжаться от десяти минут до нескольких часов, и всё это время старик лишь слегка покачивал головой, чтобы посмотреть на руки или на стоявшую на крышке прямо напротив глаз рамку, будто маленький листок за тонким стеклом и был его нотами.

Наконец, пианино смолкло. Скрипнул стул, и пара войлочных туфель прошаркала на кухню. В отличии от комнаты с инструментом, где витал запах ветхости и пыли, в здешнем воздухе висел какой-то затхлый тон – он явно исходил от духовки, но кажется последний раз ту включали под Новый Год. Плита была забрызгана потёками высохшей каши. Надо бы протереть, возникала внезапная мысль, а то так тараканы заведутся. Хотя, как они могли ему навредить – всё равно никаких лакомств для этих рыжих усачей у него не было. Старик повернул переключатель. Что-то несколько раз щёлкнуло, и к тихому гулу в комнате присоединилось шипение газа. Слабая рука поставила чайник на конфорку. Опёршись на кухонный стол, старик опустился на деревянный стул – тот скрипнул, приветствуя своего хозяина, и, подперев голову кулаком, старик погрузился в себя.

Когда-то жизнь была совершенно иной. Он не помнил, какой именно, но чувствовал, что не как эта. Каждое утро ему приходилось делать усилие, чтобы напоминать себе об этом, иначе можно было начать думать, что нынешняя обстановка, эти пустые и замусоренные комнаты, тишина, которая как будто охватила весь мир, что всё это и есть его жизнь. Когда-то с этой задачей ему помогал календарь – тот висел в коридоре у входной двери, и каждый день старик подходил, чтобы сорвать лист: «один листок – один день». Но когда от толстой пачки осталась полоска в два миллиметра, старик от чего-то остановился. Листки исчезали через день или три, затем раз в неделю, потом в начале и в конце месяца, а когда стало невозможно определять время, которое, кажется, текло в этой квартире по своим, не зависящим от внешних законов правилам, листы пропадали с произвольной периодичностью. После этого единственным источником знания о ходе времени стали настенные часы, но и тут нельзя было чувствовать уверенность, что они показывают правду: секундная стрелка периодически притормаживала на одном делении, повторяя одиннадцатую секунду два-три раза, а затем шла обычным ходом. Кто знает, сколько накопилось этих «дополнительных» секунд за все эти годы…

Старик двумя пальцами скатал маленький, шириной с булавочное ушко комок из крошек и поднёс к глазам. Пожалуй, это и могло стать завтраком для тараканов… надо бы прибраться… хотя для кого это делать? Он не мог вспомнить, чтоб здесь бывал ещё кто-нибудь кроме него. В сознании разве что возникали размытые образы танцующих людей, но ни их лиц, ни обстоятельств, ни даже музыки, под которую те танцевали, не мог припомнить. Точно кто-то создал его уже старым и поместил в этот едва освещённый однокомнатный футляр, а все воспоминания – совсем не его, а чьи-то ещё, настолько неправдоподобно они выглядели.

Пока глаза-точки изучали комок, желудок, привыкший к равнодушию собственного хозяина и потому хранивший молчание, терпеливо дожидаясь хоть какой-нибудь подачки, издал стон. И хоть старик обычно не отвечал на жалобы своего организма, в этот раз он был согласен с желудком. Нужно подкрепиться. Ноги с большим трудом отвели старика к дверце грязного холодильника. Пахнув в излишне любопытное лицо холодным воздухом и одновременно с этим ещё более кислой вонью, перед стариком предстало то немногое содержимое, какое могла предложить ледяная камера. Оно оставляло желать лучшего: на самой верхней полке лежала коробка с одним яйцом, из которого точно уже никто не вылупится, затем рядом расположился кусок батона, огрызок колбасы и ряд банок с засолками, чьё наполнение скрылось в мутно-болотной жидкости и покрылось сверху белым пухом. Внимание старика привлекли два продукта: упаковка молока, ставшее по вкусу уже кефиром, и кусочек колбаски. Старческая рука взяла картонную упаковку и взболтала, чтобы жидкость размешалась и начала источать запах. Это было, мягко сказать, ужасно. Хоть старик и был не прихотлив к еде, такое он точно не собирался пить. Похоже, срок годности истёк уже какое-то время назад, а открывать содержимое банок не хотелось. Придётся идти в магазин. Кажется, через дорогу от дома был какой-то универмаг – оттуда старик помнил миловидную девушку с иссиня-чёрными волосами и кольцом в носу. Обычно именно она помогла ему с выбором продуктов, и хотелось верить, что девушка всё ещё работает там. Это воспоминание чуть согрело замёрзшее лицо, но желание идти всё равно не появилось. Может получиться перетерпеть и сходить завтра? Но желудок издал ещё более протяжный и угрожающий стон – он осознал свою силу и не намеревался отступать. Закинув под язык кусочек колбаски, старик закрыл дверцу холодильника.

Какое-то время он искал, в чём можно было выйти на улицу. Погоду он не знал, так как окна большую часть времени были зашторены, а свой домашний «костюм» он менял крайне редко, и потому, чтобы найти куртку, какие-нибудь тёплые штаны и тем более ботинки, ему потребовался по ощущениям целый час. В итоге, надев лучшее из того, что у него было, старик подошёл к входной двери. Закутавшись в серый шарф так, что лицо почти исчезло, и натянув потёртый тёмно-фиолетовый берет на глаза, старик вдохнул напоследок спёртый воздух своего убежища. Тощая рука медленно стала снимать замки: первый, второй, три поворота ключа налево. Осталось только потянуть за ручку. Взгляд скользнул по куску алюминия, прикреплённого к стене, с пачкой обрывков. В самом конце этого ряда висел один листок с датой: «31 ДЕКАБРЯ, воскресенье». Старик ненадолго задержал взгляд на этом листке и навалился на тяжёлую дверь. Та застонала, по комнатам пронёсся гул, вырвавшийся из глубин лестничных пролётов, и меньше, чем через мгновение, дверь громко захлопнулась. В коридоре повисла тишина – никого не было дома.

\*\*\*

Двор залит горящим солнцем, неподвижно подвешенным посреди безоблачного неба. Жившие в этом квартале дети бегали по площадке, пинали мяч, раскачивались на качелях в попытке дотянуться до неба. На многих ещё была надета школьная форма (видимо они только вернулись с уроков), но палящее солнце предвещало, что стоит всем подождать ещё немного, и уже скоро можно будет снять эти душные костюмы и переодеться в летние комбинезоны, футболки, юбки и шорты.

Посреди светлого двора, как клякса на чистой бумаге, расплывался тёмный силуэт. Пятно было похоже на призрака, видение, которое так часто наблюдает разный творческий люд, и которое время от времени появлялось на этой улице. Среди юных обитателей двора даже сложилась легенда: около полувека назад один из жильцов дома убил свою жену по неведомым никому причинам (тут каждый рассказчик выдавал собственную версию, одну страшнее другой), а затем исчез при не менее загадочных обстоятельствах. Теперь его беспокойный дух воет в шахте лифта и преследует тех, у кого «совесть не чиста». Самые маленькие боялись этой страшилки, так убедительно рассказанной мальчишками, и когда им случалось встречаться со стариком во дворе, они в ужасе кричали: «Мама! Папа! Это он!» Слушатели же постарше не воспринимали историю всерьёз и называли духа просто: «Старик Мак». Откуда пришло такое прозвище никто уже не помнил – оно закрепилось за этим «призраком» как-то само по себе и теперь бродило вместе с ним по улице, когда он изредка выбирался из своей квартиры.

Старик Мак, одетый в чёрную осеннюю куртку, замер на месте, обводя своими голубыми глазками дома, окружившими и теперь возвышавшимися над ним как гиганты. Свободной рукой он отирал испарину, во второй был зажат пакет-майка с бутылкой молока, буханкой хлеба и батоном колбасы – за всё это он расплатился мятыми купюрами, так удачно оказавшимися в карманах куртки. Бывая в магазинах не часто, он и забыл, что продукты нужно оплачивать, но кассирша сердито напоминала ему об этом – то была пухлая девица, совсем не похожая на другую. На вопрос старика о "девушке с колечком в носу" она сдержанно отвечала, что такая у них не работает. Наверное, у неё сегодня выходной – какой бы день сегодня ни был. По дороге назад старик вспомнил, что ему надо было взять что-нибудь к чаю, но возвращаться не хотелось. Однако вспомнив о чае, он тут же подумал: а не ставил ли он чайник перед уходом? Вроде да, и потом заварил себе кружку, которую после оставил недопитой. Или нет? Решив, что всё же выключил плиту, он сразу же задумался над другим обстоятельством: какой подъезд был его?.. Мак мысленно прокручивал маршрут от дверей квартиры до магазина: вроде бы он шёл прямо, пересёк детскую площадку (там ещё росли три дерева), а следом был магазин… но возвращаясь назад деревьев не обнаружил. Может прошёл мимо? Нет, слишком уж знакомый был подъезд – он наблюдал его из окна, но находясь непосредственно снаружи не мог сказать, на какую именно сторону выходили окна его квартиры.

От странной запутанности старик не мог сделать ни шага – попросту не знал, в какую сторону пойти. И так бы возможно он и простоял до вечера, если бы мальчик лет девяти в красной футболке и клетчатых шортах не подбежал ему навстречу. Он смеялся, глядя куда-то мимо тёмного человека: наверное, играл с кем-то. Мак припоминал его лицо. Загорелая кожа, чёрные глаза, обрамлённые тёмными бровями, где одна была толстой, а другая тоньше, от чего казалось, что мальчик смотрел на мир недоверчиво или чуть удивлённо. У него были чёрные неухоженные волосы, которых редко касались парикмахерские ножницы, отчего они смотрелись длиннее, чем у других мальчишек… а ещё тонкий, не до конца сформировавшийся, слегка изогнутый нос… мальчишка явно двигался в сторону старика, и если тот хотел узнать, где находится, то ему нужно спросить этого ребёнка сейчас, иначе был риск так никогда и не уйти с этого двора.

— Постой, дружок, — дрожащей рукой остановил ребёнка незнакомец. — Ты не знаешь… где здесь… мой дом?

Мальчик резко затормозил, едва избежав столкновения. Он налетел грудью в выставленную ладонь и посмотрел наверх, в лицо говорящего. Стало сразу понятно, кто перед ним: никто другой с такой сухой и бесконечно старческой внешностью не мог быть «призраком двора», кроме как этот человек, одетый в тёплую осеннюю куртку в самом конце весны. Это открытие вселило в мальчика благоговейный трепет: он конечно же слышал дворовую легенду, но относил себя к той небольшой группе скептиков, считавшей человека за мифом обычным стариком; но сейчас, стоя буквально на расстоянии вытянутой руки и видя его перед собой, мальчик испытывал те же чувства, что и дети, когда впервые видят Деда Мороза у себя дома.

Какое-то время они стояли и смотрели друг на друга, пока мальчуган наконец не пришёл в себя. Моргнув несколько раз, он нахмурил брови и по-детски поджал губы. Разве ему задали странный вопрос? Старик, конечно же, знал, что иногда дети теряются похожим образом и даже помнил случай из невероятно далёкого прошлого, когда он встретил малыша, растирающего по щекам слёзы посреди людной улицы. «Что такое?» — спрашивал тогда ещё молодой Мак, наклоняясь к потеряшке. «Мама… где мама?» — давясь слезами отвечал вопросом тот, и Мак смущённо озирался по сторонам. «Мамы» нигде не было, только множество людей в серой одежде, скрывавшей какие бы то ни было различительные признаки. «Мы… мы поищем её вместе, хорошо? Уверен, она тоже тебя потеряла». Что было с этим ребёнком после Мак не знал, но наверняка он или она воссоединились со своей семьёй – иначе и быть не могло! Так что с того, что сейчас сам Мак немного заплутал? Разве мальчик не может указать ему дорогу домой?

Наконец, собеседник помладше спросил, как можно учтивее:

— Вы… потерялись?

— Нет, совсем нет! — тут же запротестовал хриплым голосом старик, — Просто… немного запутался в дорогах, — и он покрутил головой, снова осматривая игровую площадку и ряд дверей в разные подъезды.

— Ага… — недоверчиво протянул мальчик. И всё-таки этот старик был чудаком, как и говорили другие ребята. — Может мама знает? Она часто говорит с соседями и будет рада помочь!

Старик незаметно закутался в свой шарф поглубже. Спросить у его мамы? Что-то внутри протестовало. Если бы он не был так стар, то наверняка сейчас же повернулся и ушёл хоть куда-нибудь. Но ноги едва держали его и тело нуждалось в мягком кресле как можно скорее, потому, как бы Мак не сопротивлялся, идти против своей слабости он больше не мог.

— А где твоя мама? — устало спросил он.

— Ну, она на работе, — опустил голову мальчик. Видимо это смутило его, и он снова нахмурился. — Обычно она работает до вечера и проходит поздно… но вы можете подождать у нас дома! Уверен, мама будет не против: она разрешает друзьям заходить ко мне. Просто скажем, что вы мой новый друг.

Теперь уже нахмурился старик. Прийти в чужой дом? Так ещё назваться другом? Это всё становится слишком неудобным – решение заговорить с ребёнком было явной ошибкой. Увы, спорить бесполезно: дышать в этой одежде становилось труднее, поэтому он коротко кивнул.

— Кстати, я Рома! — представился мальчик и пожал всё ещё вытянутую руку. Она оказалась на редкость холодной и влажной, отчего держать её можно было только пару секунд, после чего Рома быстро сунул свою в карман. — А вас как зовут?

— Меня? — как бы не поняв вопроса переспросил старик. — Меня зовут… зовут Мак.

— Очень приятно… Мак. Ну! Идёмте!

Мальчик побежал дальше. Старик медлил, обдумывая произошедшее, но всё-таки смиренно пошёл за Ромой своим неторопливым шагом. Рома периодически останавливался и смотрел назад, дожидаясь, когда старик доковыляет до него. Так они и добрались до дверей незнакомого старику подъезда. Поднявшись на самый верхний этаж, Рома впустил «гостя» в двухкомнатную квартиру.

Она оказалась куда чище и свежее, чем та, в которой ещё в начале дня жил старик Мак. Вошедших сразу встретил приятный аромат, исходивший от шеренги баночек на комоде. «ЛАВАНДА» было написано на одной из этикеток. На обои кремового цвета были подвешены гобелены с изображением павлинов и восточных видов; пол был покрыт приятным на ощупь линолеумом, по которому можно спокойно ходить босиком (Мак, верный своим привычкам, не смог найти тапки в том месте, где он обычно оставлял их у себя, и теперь ступал по незнакомой ему квартире ещё более неуверенно). Рома помог ему снять куртку и повёл в гостиную – просторную комнату с мягким на вид диваном, парой шкафов с фарфоровыми статуэтками и фотографиями жителей квартиры. На подоконнике, как шахматные фигуры на доске, были расставлены ряды горшков с фикусами. Большое окно пропускало столько света, словно та находилась под огромным прожектором, который можно было выключить, опустив плотные бархатные шторы. Мальчик проводил старика до дивана, и когда тот уселся, стал рассказывать о себе, о своих увлечениях, школе и многом другом. Большая часть рассказа пролетала мимо клевавшего носом гостя. Только когда он перешёл к описанию маминой работы, Рома заметил, что старик крепко спит. Не проснулся он даже когда в прихожей послышался стук каблуков и разгорячённые голоса мальчика и женщины. Кажется, впервые за долгое время старик спал так сладко и даже видел какие-то сны – правда, по пробуждению он вряд ли их вспомнит, но сейчас уголки обветренных губ чуть приподнялись, и на его лице проступила улыбка...

\*\*\*

Так в нашей жизни появился старик Мак.

Несколько дней мы с мамой расспрашивали его, где он жил, что видел из окна квартиры, но, увы, всё без толку. Сначала он рассказывал про какие-то фотокарточки, альбомы, как темно было в его гостиной и что возможно он оставил на плите чайник. Мама отправляла меня ходить по дворам, а потом и по чужим улицам, вглядываться в окна квартир, чтоб найти хоть что-то похожее на описание, но это всё равно что искать монетку на тротуаре. А затем он и вовсе забыл, что раньше жил в другом месте – он общался с нами так, будто мы были его дальними, а потом и близкими родственниками. Мы не сразу приняли это и, как и с квартирой, пытались выяснить, если ли у него реальная семья: дети, внуки, просто какие-нибудь родственники? Не мог же он быть совершенно один на целом свете!.. Но ни он, ни социальные службы ничем не смогли нам помочь. В конце концов мама была готова отправить его в дом престарелых, но это было просто недопустимо – он так хорошо чувствовал себя у нас, что выставлять его было бы слишком жестоко! И потом, я всегда мечтал о дедушке, но чтоб не нужно было смотреть на него снизу-вверх, потому что он старше – просто друг, который так получилось видел чуточку больше, чем я. Мама долго упиралась и всё говорила, что ей придётся искать ещё одну работу, чтобы прокормить троих, но наконец согласилась. Теперь у меня был дедушка! Свой, собственный.

Мы поселили его в гостиной – моя комната оставалась моей, и никому, кроме друзей, нельзя было туда заходить. Кроватью для Мака стал диван, на котором он уснул в самый первый день. Мама провела ревизию наших ящиков с одеждой и принарядила его: теперь на нём были светлые и зелёные вещи из мягкой ткани. Он не сразу их принял, но потом было трудно уговорить его менять рубашки.

Я часто заходил к нему. Он рассказывал какие-нибудь истории, и они никогда не повторялись. Мы часто спорили, доказывая друг другу, что было правдой, а что выдумкой, и когда я в ходе рассказа подмечал несостыковку, Мак смешно смущался, опускал взгляд и шуршащим голосом проговаривал: «Вот как? Наверное, это было потому…» – и придумывал объяснение, которое казалось ему разумным. Меня забавляли такие моменты – он был похож на сказочника-импровизатора, создающего каждый раз новую историю! С ним никогда не было скучно! В другие разы мы вырезали бумажные цветы, которые я дарил маме, когда она возвращалась с работы. Мак не рассказывал, у кого он научился их делать, но всякий раз его сухие губы криво улыбались, а щёки наливались румянцем.

Иногда мы проводили день на кухне, пытаясь приготовить обед или ужин, или выходили гулять – при этом приходилось следить за дедушкой, чтобы он случайно не потерялся. Мама бы такой шум подняла! Да и я бы ни за что себя не простил… но обычно я быстро находил его и уводил домой, по дороге покупая нам на карманные деньги мороженное. Бывали дни, когда дедушка вдруг замолкал, прося разве что принести ему плед и чай – обычно это означало, что он хочет посидеть в тишине. Я рисовал рядом, пока он смотрел в зашторенное окно, а когда начинал посапывать, тихо перебирался в свою комнату.

Через месяц-другой мы так привыкли друг к другу, что на выходных, когда мама была свободна, мы все вместе отправлялись в парк. Взяв себе по мороженому, мы гуляли и рассматривали прохожих: сосредоточенных мамочек с колясками, шумные ватаги школьников и студентов, одиноких любителей «бега трусцой» – и придумывали про них смешные истории. За это время Мак словно расцвёл, как почти увядший цветок, когда тому вдруг налили свежую воду: он стал чаще разговаривать с нами, и даже улыбаться! Это так отличало его от того призрака, которого я встретил во дворе в конце мая…

Как-то за одним из завтраков, когда мама в спешке доедала свою порцию риса с зеленью, Мак неуверенно спросил:

— А у вас есть… фортепьяно?

Мы с мамой оторопели.

— Простите, фортепиано? — уточнила мама. Он кивнул.

— Я привык на нём играть по утрам, — объяснял он, водя ложкой в тарелке и не глядя на нас, словно обращаясь к самому себе, — И мне не хватает его голоса…

— Так ты пианист?! — воскликнул я и повернулся в его сторону, чуть не перевернув содержимое своей тарелки. Это что получается, с нами всё это время жил музыкант? А вдруг через пару дней окажется, что он ещё и великий композитор?! Я правда никого не знаю кроме Баха или Моцарта, но если это будет правдой, то обязательно прослушаю все произведения Мака!

— Рома, ешь, не балуйся! — серьёзный голос мамы вынудил меня вернуться к еде.

— Да, наверное… я всегда на нём играл… сколько себя помню, — я прыснул в тарелку, и брызги молока полетели в разные стороны.

— Ромул! — осекла меня мама, а потом повернулась к дедушке и мягко добавила, — Боюсь, у нас нет места для инструмента. Извините.

Мак слабо улыбнулся. Он пожал плечами и вернулся к своему супу, равнодушно помешивая тыквенную кашицу. Что-то в его движениях не давало мне покоя, как будто мы только что разрушили его мечту своим отказом. Мне почему-то сделалось не хорошо… остаток завтрака прошёл в молчании. Потом дедушка отпросился в свою «комнату».

— Мам, ну давай купим пианино! — говорил я громким шёпотом заранее убедившись, что на диване точно спят. Мама как раз собиралась на работу, и я надеялся, что вечером она сможет заехать в магазин, чтобы утром Мак уже мог играть свои пьесы.

— Рома, пойми, я, может, и хотела бы дать ему это фортепиано, но у нас правда нет денег на такую дорогую покупку. К тому же мне нужно хоть немного откладывать на ваши прогулки и вещи для школы.

— Ма-а-м. Школа будет только через два месяца: ничего не случится, если я приду первого сентября без пары тетрадей и нового портфеля. А прогулки… — тут я задумался. Было бы очень жаль отказываться от мороженного, но ради дедушки… — Я могу пожить без сладостей хоть целую неделю!

Мама улыбнулась и остановила сборы. Она уже была в рабочей одежде: синий пиджак, брюки и чёрные туфли, волосы уложены на затылке – так она выглядела слишком серьёзно. Мама положила руку мне на голову, и я почувствовал запах её любимых духов. Он мне нравился – этот аромат принадлежал только ей, и, порой, чувствуя его на своей одежде, мне казалось, что она рядом со мной, даже в школе.

— Ты очень добрый. Но, Рома, даже месяца без покупок будет недостаточно, — мягко сказала она.

— Да пусть хоть всё лето! Уж этого-то должно хватить? — не унимался я. Она рассмеялась.

— Музыкальные инструменты очень дорогие, особенно хорошие. Да даже старые, которым больше лет, чем мне, стоят недёшево. Потребуется как минимум год, чтобы накопить на пианино. Но мы обязательно его купим, хорошо?

Я выдернул голову из-под её руки. Дедушка Мак очень любил пианино – это я увидел сегодня за завтраком, и я прекрасно знал, что чувствуешь, когда тебя лишают любимого дела. Например, когда приходится учить дурацкие уроки вместо рисования. И теперь, когда мама отнимала радость не только у меня, но и у дедушки, я был рассержен. Развернулся, и несмотря на её зов, ушёл к себе в комнату, хлопнув дверью. Наверно, я погорячился – от этого Мак мог проснуться, но я был слишком зол, чтоб думать о чём-то кроме маминой несправедливости. Минуту сидел за столом, пока не услышал, как закрылась входная дверь, а через полчаса ко мне постучался Мак – всё-таки я его разбудил – и предложил попить чаю. Хотя я и хотел в знак протеста просидеть в комнате весь день и не есть до момента, пока мама не купит фортепиано, от чая с дедушкой отказаться я не смог. Увидев мою хмурую мину, он пристал с вопросами, но я не спешил делиться с ним причиной. И тогда он сказал: «На некоторых вещах лучше не зацикливаться. Они поглощают всё твоё внимание, и ты перестаёшь видеть мир вокруг. Поэтому правильно иногда что-то забывать, чтоб была возможность двигаться дальше». Поэтому он так мало помнил? Но разве это не расстраивает, забывать события и вещи, которые с тобой когда-то были? Вскоре я так увлёкся, что вправду забыл об утренней ссоре, вспомнив о ней только когда мама не приехала в 10 вечера. Мы с дедушкой поволновались, попробовали дозвониться до неё, но она не брала трубку. «Наверное, у них на работе проблемы,» — заключил Мак и пошёл спать. Я посидел ещё, но в конце концов глаза начали слипаться, и я уснул прямо за кухонным столом, когда на часах было уже за полночь.

Проснулся уже в своей кровати, на кухне во всю шкворчала сковорода. Значит мама всё-таки приехала. Я думал встать и поздороваться, но лёгкая обида за вчерашнее напоминала о себе, и потому остался лежать в кровати, накрыв голову одеялом, чтобы не слышать её шагов и зова к завтраку. На удивление, приглашения не было. Ни через 10 минут, не через полчаса; но зато я слышал шарканье ног Мака из гостиной на кухню и обратно. И только когда входная дверь снова закрылась, я встал.

Продолжалось так несколько дней. Кажется, это был единственный раз, когда мы так долго не разговаривали, и, честно, мне становилось не по себе. Как будто я оказался один во всём мире. Хотя рядом был дедушка, но он был здесь не так давно. А тут… хотелось, чтобы всё стало, как было, но стыд за сказанное не давал мне извиниться. Изменилось всё вечером четвёртого дня: я проснулся поздно ночью от кого-то шума. Выглянув в коридор, я увидел свет, выходивший из приоткрытой двери маминой комнаты. Шум доносился оттуда. Идти было страшно, но всё же я сделал шаг к дверям и посмотрел в проём: на плетённом стуле рядом с кроватью сидела мама с распущенными и неухоженными волосами, в расстёгнутой рубашке, пока остальной костюм лежал смятым комком на постели. Её спина подрагивала.

Медленно, приоткрыв дверь, я подошёл. Она вздрогнула от звука шагов и обернулась – на щеках чертили мокрые дорожки тёмные слёзы. Я тут же обнял её, уткнувшись головой в плечо. Она сидела неподвижно, вздрагивая, а затем прижала к себе и продолжила тихо всхлипывать, пока я медленно гладил её по спине. На следующее утро завтрак прошёл как обычно: мы сидели вдвоём и ели хлебцы с мёдом, когда дедушка Мак медленно вошёл на кухню и ещё сонными глазами с удивлением посмотрел на нас. Мы рассмеялись от его нелепого вида. Он тоже улыбнулся. «А я знал, что вы помиритесь,» — сказал он и затем опустился на своё место.

Через неделю, в квартире появились двое мужчин в комбинезонах, неся с двух сторон длинный прямоугольный предмет. Показалось, что они чуть ли не разрушили полквартиры по дороге. Когда они ушли, мы втроем встали в гостиной, чтобы полюбоваться новоприбывшим гостем. Гладкая поверхность блестела в свете солнца, мягкое сияние полированного дерева, покрашенного в чёрный, сглаживало изгибы и углы инструмента. Клавиши, идеально выверенные и одинаковые по размеру, но разные по цвету, чередовались в странном порядке: между тремя широкими белыми шли две коротких чёрных, потом пропуск, и затем три чёрных между четырьмя белыми. Я насчитал семь таких повторов. Новенькое пианино стояло перед нами как бы демонстрируя свою красоту, вызывая смельчака опробовать свои силы: «Достойны ли вы сыграть на мне?» — слышал я его насмешку. Мы с мамой не решились, а вот Мак, которого мне пришлось немного подтолкнуть, прошёл короткими шажками к стулу и повернулся к нам спиной, как будто оставшись наедине с инструментом.

Честно, я ожидал услышать что-то величественное. Что-то такое внезапное, громкое, виртуозное, как это показывают в фильмах, когда руки пианиста скачут по клавишам как бешенные, выдавая такие пассажи, только успевай слушать! Когда же дедушка Мак притронулся к клавишам…

Он не играл что-то особенное. Мне порой казалось, что он нажимает случайные клавиши, которые каким-то волшебным образом сливаются в стройную мелодию. По сути я могу также играть! Чем его случайные попадания будут отличаться от моих? Но стоило мне в другие дни сесть за фортепиано, когда дедушка выходил по делам, как тут же мама выходила из своей комнаты и просила перестать. «Это отвлекает,» — говорила она. Когда за инструмент возвращался Мак, пианино, словно подчинялось его воле, меняло своё звучание. Он играл, закрыв глаза, и плавные звуки расплывались по воздуху, как лёгкий туман, проникая в каждый уголок квартиры. И на первый взгляд простые мелодии, состоявшие из перебирания нескольких нот, обретали что-то глубокое и осмысленное, что мы с мамой не могли понять, но могли почувствовать. Что именно я понял позже.

\*\*\*

Июль клонился к закату, а меня угораздило разболеться. Мама первым же делом постаралась ограничить мои контакты с Маком: в таком возрасте старики совсем слабые, говорила она, и могут очень легко заразиться. Но он как маленький ребёнок, только седой и морщинистый, всякий раз умудрялся зайти ко мне, расплываясь в странной улыбке, как будто её нарисовали маркером. Я пытался его прогонять, но он будто не слышал, садился в ногах, глядя на меня с теплотой и беспокойством. Хотелось приложить горячую ладонь к его холодной щеке, чтобы перенять эту мягкость. Жаль, что кашель в подушку отбирал все силы – их не хватало даже чтобы поднять руку.

Иногда болезнь брала передышку, и тогда я мог попросить его подойти к окну и описать происходившее на улице: мы представляли, что снова гуляем по парку, смеясь и болтая. А порой Мак внезапно появлялся, приоткрывал дверцу, при этом заговорщически подмигивая, и исчезал. Через минуту я начинал слышать голос его пианино из гостиной. Проходя по стенам, огибая обувь в коридоре и дверь, музыка долетала до меня и плавно опускалась на постель или падая на голову, точно снег. Звук фортепиано не был настоящим – это было электрическое пиано, и я отчётливо слышал удары клавиш о корпус, прежде чем оттуда выходил звук, едва перекрывавший постукивания. Оттого в мягких и тихих, чуть шуршащих нотах мне слышался живой голос. Казалось, дедушка сидит рядом и разговаривает со мной, не говоря при этом ни слова. Тогда я не додумался записывать эти концерты…

Наступил мягкий август. В одну из прогулок в дальнем уголке парка мы наткнулись на уличного музыканта. Тот сидел за настоящим пианино посреди площади и непринуждённо играл. Дедушка смотрел на него, как заворожённый. Будто этот парень, разбавляющий шум снующих мимо людей и машин звуками своего инструмента, кого-то ему напомнил. Я почувствовал, как старческие пальцы в моей руке задрожали и слегка засуетились, словно пробежавшись по невидимой клавиатуре. Тогда я потянул дедушку за рукав, и мы подошли к пианисту.

— Добрый день, — вежливо поприветствовал он нас, закончив песню. Это был длинноволосый блондин с тёмной бородкой, весь в жёлтом. — Сегодня хорошая погода для игры, не так ли?

— Почему вы играете здесь? — тихо спросил Мак, по-прежнему пристально глядя на пианиста. Тот пожал плечами.

— Я каждый день слышу свою игру у себя дома. А все эти люди, — и он обвёл глазами улицу, — они редко слышат настоящую музыку. Вечно бегут по своим делам, не замечая ничего вокруг. Мне хочется показать им её красоту. И, к тому же, нужно же давать соседям отдохнуть.

Все рассмеялись. Потом наступила пауза, во время которой мы слушали шум города: цокот каблуков, хлопанье крыльев, чьи-то отрывистые голоса, отдалённый гул машин и шуршание над нами уже начинающей желтеть листвы.

— Я могу… — начал дедушка, но замялся. Мужчина внимательно на него посмотрел, и тогда он продолжил, — Можно мне сыграть с вами?

Я несколько раз энергично покивал пианисту, как бы прося его пустить Мака, который впервые встретил родственную душу.

— Что ж… мне редко доводится с кем-то играть, но… да, почему бы нет, — и он отодвинулся на край квадратной табуретки. Дедушка ещё немного постоял, но я шепнул ему «давай», и он осторожно подсел с правой стороны. Пианисты переглянулись: мужчина жестом предлагал решить, что играть. Дедушка перевёл взгляд на клавиши и медленно опустил руку.Он сыграл короткую мелодию: нота наверху, которая затем легко спускалась вниз, возвращалась к началу и затем выходила в спокойный звук между. Как только он начал играть, всё вокруг словно отступило и растворилось. Перебор повторился несколько раз, и первый пианист начал играть внизу: его звуки заполняли тишину между нотами, как бы заливая белый лист красками. Затем мелодия начала развиваться – аккорд наверху! Левая кисть засеменила по нотам, словно передавая непрерывный бег времени. Дедушка же раздумчиво продолжал свою тему. Два музыканта – молодой и старый – сидели за одним инструментом и о чём-то говорили без единого слова. Может Мак рассказывал молодому что-то из своего далёкого прошлого, о котором не мог вспомнить? А тот будто отвечал, что жизнь не остановилась, что она идёт, что будет ещё множество завтраков по утрам, прогулок днём в этом парке и приятных снов ночью. Они говорили друг с другом, не замечая никого вокруг – даже меня.

Игра замедлилась. Последний глубокий аккорд, и тут… мелодия, которую играл дедушка, превратилась в знакомый каждому незатейливый мотив: «С-днём-рож-де-нья-те-бя-я» Но сейчас он звучал спокойно, не слишком радостно, но и не печально, словно то была песня каждого прожитого дня. В один момент он взял выше, и, остановившись на середине, замер. Звук рассеялся, гул улицы медленно вернулся. Когда Мак повернулся ко мне, его глаза блестели. Не знаю, что он тогда чувствовал, но я вдруг понял – он впервые был настолько счастлив за много лет.

Это была наша последняя прогулка. Потом он заболел. Я думал, что всё обойдётся, что мама ошибалась, но теперь, когда он неподвижно лежал на своём диване и прерывисто дышал… я спрашивал себя: почему я не послушал её?.. Мама успокаивала, что он обязательно поправится, и дедушка Мак в ответ слабо улыбался, подбадривая нас, но с каждым днём он становился всё слабее. Нам приходилось кормить его с ложки, помогать дойти до туалета и часто менять рубашку. Мама взяла отгул на работе, хоть потом и признавалась, что ей придётся как минимум месяц ночевать вне дома, чтобы наверстать пропущенные смены, и мы поочерёдно сидели у его дивана. В какой-то момент дедушка стал спрашивать, где он и кто мы такие. Это было очень странно, даже жутко. Я пытался напомнить ему, показывал бумажные цветы и рисунки, но он всё чаще смотрел сквозь меня, будто меня здесь не было. Прямо как в тот день.

Когда до школы оставалось чуть больше недели, Мак вдруг сказал маме, что она может вернуться к работе. Её это очень удивило, ведь он днями не мог вспомнить её, а тут вдруг говорит такое. Она пыталась с ним спорить, но дедушка мягко, почти заботливо, словно мама была его дочкой, убеждал её, что ей нужно переключиться на что-то другое, и в конце концов она согласилась. Мама позвонила на работу, спросила, может ли приехать, тут же собралась и дала мне несколько поручений. Мы с дедушкой остались вдвоём, и так прошла ещё пара дней, за которые мы перемолвились всего несколько раз – в остальное же время он просто лежал и смотрел в потолок. Я предлагал поиграть ему – да, может я и не пианист, но я хотел сделать хоть что-то, чтобы помочь. Но дедушка тихо говорил: «Не нужно, я лучше так… в тишине…» – и отворачивался. Понимая, что ничего не могу сделать, мне оставалось только сесть рядом и бессмысленно что-то рисовать тетрадке.

Когда на улице была погода как в тот самый день, когда мы впервые встретились, а шторы были опущены, из-за чего в гостиной стоял мягкий сумрак, я услышал слабый голос с дивана:

— Рома… открой форточку… я хочу…

Он не договорил – сухой кашель прервал его. Я тут же кинулся к окошку, как будто это было самое важное дело из всего, что я мог и должен был сделать. Стоило мне повернуть щеколду, как сильный порыв прохладного воздуха ворвался в комнату. Шторы, как призраки, затрепетали на ветру, и если бы они не были закреплены на гардине, то наверняка бы взмыли к самому потолку. Комната наполнилась запахом улицы: свежескошенная трава, выхлопы автомобильных труб, пыль. Я вернулся к дивану и стал слушать ветер – он летал по комнате и насвистывал свою песню странствий. Может он хотел нас напугать, но мне скорее казалось, что он отчего-то жаловался на свою жизнь. Тяжело, наверное, нестись куда-то не в силах остановиться и оглядеться вокруг, запомнить те места, где ты бывал. Хотя что ветру до этих мест: он столько всего уже повидал, что для него должно быть это всё совершенно неважно, летит ли он над полем, сбрасывает ли шапки прохожим, или как сейчас вдруг заглянет в чью-то в комнату.

— Рома, — внезапно прошептал дедушка, еле слышно.

Я поднял голову. Что?

— Я вспомнил, — продолжил он, — Ветер… он разогнал туман там, в голове, — его лицо повернулось ко мне. Он смотрел своей знакомой улыбкой, как раньше. — Теперь там тишина.

Я не понимал, что он говорит. Как ветер мог гулять ещё и в голове? Какой там теперь должно быть кавардак! Но дедушка говорил, что теперь ему всё ясно…

— Что ты вспомнил? — было что-то в его умиротворённом виде, как будто он одновременно был здесь со мной, но в тоже время где-то в совершенно другом месте.

— Я вспомнил… что забыл тогда выключить чайник.

Послышался смешок, сдавливаемый кашлем. Затем он повернулся к стене и тихонько засопел. Когда я позвал его, дедушка Мак уже не дышал.

\*\*\*

Единственное, что осталось от него кроме одежды, которую мама быстро унесла из дома – это пианино, печально стоявшее в углу гостиной, и пачка листов. Они нетронутыми лежали на диване под подушкой, я нашёл их случайно, когда лежал и смотрел в потолок, как это последнее время делал дедушка – пытался увидеть, что он мог такого интересного найти там, наверху. И тогда засунув руку под подушку, нащупал что-то бумажное. Это были 11 листов, исписанных точками с хвостиками, лежащими на двух столбиках из пяти плавающих линий. Я всматривался в эти непонятные кляксы. Похоже на какие-то руны, или… шифр? Вечером я показал маме свою находку. Она сказала, что это называется «партитурой», а маленькие точки – ноты, и они обозначают клавиши инструмента и звуки. Музыканты умеют их читать, потому что их этому учат в музыкальных школах, как детей учат буквам. «Значит, и Мак умел их читать?» – «Видимо да. Удивляюсь, как он не забыл этого…» Похоже в старости ты можешь забыть всё, кроме своего языка. «И если мы найдём такого же музыканта,» – рассуждал я, – «То… он сможет это прочесть и сыграть?» Мама предположила, что это возможно. Завтра она позвонит в городскую музыкальную школу и спросит там пианиста. «И если он будет свободен, то мы покажем ему твою находку» – пообещала она.

Две недели спустя, мы пришли в музыкальную школу – какой-то именитый, по словам мамы, пианист согласился нам помочь. Нас попросили подождать, пока он освободится. Мы устроились в жёстких креслах у гардероба и прислушались. В коридоре гуляли отзвуки разных инструментов: где-то плакуче пела скрипки, звенели быстрые пощипывания струн гитары, где-то романтично играл аккордеон, а из самой глубины коридора доносилось пение хора на непонятном языке, но это было так красиво, неспешно и торжественно, что я невольно начал клевать носом. Мы непроизвольно вздрогнули, когда ближайшая дверь распахнулась и из неё выбежала группа детей постарше меня: все они несли в руках тетради с изображением причудливого знака, как на дедушкиной рукописи, и дневники с надписью «для музыкальной школы». Следом за ними из кабинета вышел полный мужчина в рубашке и подтяжках. «Владислав Карминов,» – представился он. Я пожал его руку – она была мягкой, как надувная подушка, с нежной кожей, как у мамы, совсем не как у дедушки.

Он начал перебирать листы довольно небрежно. Помню наша классная делала также, когда мы сдавали ей свои контрольные, всем видом подчеркивая, что ничего хорошего она от нас не ждёт. Мэтр быстро пробежался глазами по первым трём листам, но затем внезапно замедлился. На следующих он останавливался подольше: тонкие брови хмурились, зрачки сосредоточено двигались. В какой-то момент он приблизил лист ближе к глазам, несмотря на очки, которые и так смотрелись частью переносицы. Что он там видел? Что Мак написал перед своим уходом? На последних страницах на лице Владислава Карминова воцарилось полное смятение. Рассматривал он эти 11 листов, наверное, минут восемь, пока не поднял на нас глаза. Медленно он снял очки.

— Ну что? — спросила мама, также смятённая внезапной реакцией музыканта.

— Это… — он задумался. — Я-я впервые вижу что-то подобное. Кто вы говорите это написал?

— Дедушка Мак! — чуть ли не с гордостью воскликнул я.

— Пожилой человек. Мы встретили его в нашем дворе несколько месяцев назад: он забыл, где его дом, и мы решили дать ему пожить у нас.

— Его звали Максим?

— Нет, это его прозвище. Все во дворе его так называли – и он себя тоже, — пояснил уже я.

Это ещё больше запутало мастера, и он принялся снова рассматривать рукописи, будто те могли ему всё объяснить.

— Так… вы можете это сыграть? — после непродолжительной паузы спросила мама.

— М? О, да, конечно. Это довольно простая композиция, только… я не уверен, правильно ли я её исполню. Видите ли, ваш дедушка не оставил никаких пометок для исполнения. Обычно пишут, с каким характером играть: "очень мягко" или "громко", "с нажимом" или "очень медленно". Но здесь нет ничего – только название…

Мне не важно, что там обычно делают, как принято и кто что думает. Я хочу услышать то, что слышал дедушка Мак каждый день.

— Пожалуйста. Сыграйте…

Карминов молчит. Но затем кивает и рукой приглашает нас в аудиторию. Мы оказываемся в просторном кабинете, в центре которого стоит странное фортепиано. Оно большое и вытянутое, прямо как диван. У стены расположены парты и шкафы – там видимо обычно и сидят его ученики. Я сажусь вместе с мамой в первый ряд, пока мэтр поднимает и фиксирует «Р»-образную крышку, а затем садится за клавиши. Он осторожно расставляет листы, перепроверяя их порядок, и, взмахнув руками, сдержанно, как на настоящем концерте, объявляет:

— Неизвестный автор. «Созерцание, часть 3».

Звучат шесть нот. Медленно, они идут снизу-вверх. Длинная пауза. Затем снова шесть нот поднимаются наверх, но теперь ещё выше. Снова пауза. Ноты поднимаются – куда ещё выше?.. Затем плавно, без усилий, они спускаются, но продолжая как будто восходящее движение. Это повторяется из раза в раз. Бесконечный подъём… я кладу голову на мамино плечо и чувствую, как она дрожит, обнимая меня. Мы слышим его… как этот неизвестный никому старичок, появившийся однажды в нашей жизни, медленно перебирает клавиши, снова и снова устремляясь куда-то за грань нашего мира. Как ему это не надоедает? Какой ответ он нашёл в этих нескольких звуках, идущих из самых низов клавиатуры до самых верхов?..

Ветер бился в окно. Дети внизу спешили на свои уроки, взрослые торопились на работу, листья постепенно желтели, природа готовилась к наступлению зимы. Только я, мама, да эта музыка, которую, как мне казалось, играл руками пианиста мой дедушка Мак, были в центре каких-то непонятных, но необыкновенно важных событий, и ощущали бесконечную красоту жизни.